

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

**РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ**

134

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 134

TRIMESTRIEL

II - 1981

Философия

ИЗ АРХИВА ЛЬВА ШЕСТОВА (1866—1938)

ДВА ПИСЬМА К БОРИСУ ШЛЕЦЕРУ¹

Булонь сюр Сен, 11-го сентября 1938

Что до меня, то доктор Боман, тщательно осмотрев меня, в Шателе, нашел, что ничего серьезного нет, просто от времени организм несколько ослабел, износился. Я думаю, что он прав. Самочувствие же теперь несколько лучше — пытаюсь даже писать о Гуссерле.²

В том, что Вы пишете о событиях — конечно, никто, или вряд ли кто, с Вами станет спорить. Вот уже четверть века, как мы переживаем непрерывные ужасы. Но до сих пор все же нам лично удавалось спастись от страшного и страшное выпадало на долю других. Что творилось и творится в России, где люди отданы во власть Сталиных и Ежовых! Миллионы людей, даже десятки миллионов — среди них несчетное количество детей — гибли и гибнут от голода, холода, расстрелов. То же в Китае. И рядом с нами в Испании, а потом в Германии, в Австрии. Действительно, остается только глядеть и холодеть, как Иван Ильич. Но у самого Толстого рассказ кончается неожиданными словами: вместо смерти был свет. Что они значат? Кто уполномочил Толстого сказать такое? Может быть, это странно, но когда я читаю в газетах о том, что происходит, моя мысль как-то сама собой направляется от ужасов бытия куда-то к иному существованию. Я не могу не думать — может быть, потому, что ничего не могу делать — поневоле в стороне стою: и старый, и больной, и чужестранец.

¹ Писатель, музыковед, Борис Федорович Шлецер (1881—1969) был близким другом Льва Шестова. Он перевел на французский язык пять его книг и написал о нем ряд статей. В приведенных письмах, написанных в сентябре 1938 г., Шестов делится со Шлецером своими размышлениями по поводу сложившейся в то время обстановки в Европе. Письма взяты из книги "Жизнь Шестова по письмам и воспоминаниям современников", подготовляемой Натальей Барановой-Шестовой. В них опущено несколько строк, не относящихся к главной теме.

² Речь идет о статье "Память великого философа. Эдмунд Гуссерль", опубликованной в журнале *Русские Записки* № 12 (1938) и № 13 (1939).

Мне всегда казалось, что думать, настоящим образом думать, может лишь тот, кто не делает, ничего не делает, кому нечего делать. И вот, чем больше надвигаются ужасы, тем больше и напряженнее думаешь. И в том кошмаре, который нами овладевает, который идет на нас, парализованных, как во сне, бессилием, иной раз чувствуется что-то совершенно неестественное, противоестественное. Конечно, нельзя не чувствовать ужасов, даже не только тех, которые, может быть, нам предстоят, но и тех, которые выносят и выносили в разных странах чужие и столь близкие нам люди. Не только теперь, но и в отдаленные времена. Помните плач Иеремии? И громы Апокалипсиса? Но, загадочным образом и пророки и апостолы сквозь ужасы бытия прозревали что-то иное. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Отрется всякая слеза. Точно они предчувствовали, что кошмар "действительности" так же исчезнет, как кошмар сновидения. Знаю хорошо, что пророкам и апостолам мало кто придает значение. Все ценят только физическую силу, превосходство крепких мышц. Ибо все "делают", хотят "делать" историю. Для всех "отрется слеза" — ребяческая сентиментальность, для всех громы Апокалипсиса не из тучи, а из навозной кучи. Но когда "не делаешь", когда думаешь — то, что нам представляется последней, окончательной реальностью, вдруг превращается в фантазмагорию. Разве все эти Сталины, Муссолини, Гитлеры вечны? И разве их "победы" не призрачны? Чем больше они торжествуют, тем более явно обнаруживается (в иной перспективе) их ничтожность. И ведь в сущности ужасы жизни не с 1914 года пошли, всегда были. И были всегда люди, которые, хотя ничего не "делали", но умели и хотели думать. И к ним — к пророкам и апостолам еще неудержимее теперь рвется душа, чем когда-либо. Они умели глядеть на самые страшные ужасы — и не терять веру в Бога.

Верно, написал нескладно — простите. Но, думаю, Вы догадаетесь, что я хотел сказать.

Булонь сюр Сен, 22-го сентября 1938.

Заодно уже скажу, что слово "думать" я, конечно, употребил не в смысле "спекулировать". Все время имел я в виду "второе измерение" и "de profundis ad te Domine clamavi" — которые я противопоставлял "деланию". Знаю, что теперь все храмы полны — люди молят: да минует нас чаша сия. Но ведь уже бывали эпохи, подобные нашей — и когда люди лучше умели молиться. А вот я только хотел сказать Вам, что если молитвы не будут услышаны и нам придется возопить:

”Господи, отчего Ты нас покинул” или повторить ”плач Иеремии”, нужно стараться не терять мужества и, как Иеремия и Иисус, под отвратительной ”очевидностью” не забывать великой заповеди: ”слушай Израиль”. Это все, что я хотел сказать — хотя и сказал нескладно.

Что до статьи Фондана,¹ Вы ее недооценили. Вспомните, как дружески расположенные ко мне люди — Бердяев, Беспалова и др. уродовали мои мысли. Фондан этого избег — и это большая заслуга. Несколько человек даже находят, что по прочтении его статьи они лучше стали понимать мои писания.

4 НЕИЗДАНЫХ НАБРОСКА²

I

Когда судьба подводит человека к великой стене, отделяющей наш понятный мир от неведомого, он чувствует, что перебраться через препятствие, оставаясь тем, чем был прежде, невозможно. Нужно одно из двух: либо пригнуться, обратиться в микроскопичную крупинку, в невидимый для простого глаза атом, чтобы пробраться через невидимые же поры, либо вырасти до гигантских размеров, чтобы перешагнуть через стену. Либо испробовать и то, и другое. Смирение и гордость вовсе не исключают друг друга и не враждуют меж собой. Неученые люди часто переходят от одной к другой. Но ученые, отыскивающие категории, назвали смирение добродетелью, а гордыню пороком, и с тех пор уверовали, что они взаимно исключают друг друга.

Иногда тот самый человек, который с легким сердцем солжет, чтобы избежать маленькой неприятности, откажется солгать в другом случае, хотя бы ему угрожала смерть. И в обоих случаях совершенно не справляясь с тем, позволяет или не позволяет мораль лгать.

II

Платон утверждает, что поэты часто высказывают глубокие мысли, значение которых им самим непонятно. В этих словах своеобразная теория поэтического творчества, ими определяются и задачи

¹ Benjamin Fondane. «Léon Chestov et la lutte contre les évidences». Revue Philosophique 1938 № 7/8.

² Наброски взяты из рабочих тетрадей Шестова, относящихся к 1904 г. (1-й набросок), к 1909 г. (2-й набросок) и к 1928 г. (3-й и 4-й набросок).

литературной критики. Поэт может быть ничтожнейшим существом — и это нисколько не влияет на характер его произведений. Ибо его устами, выражаясь платонически, говорят боги, у которых достаточно ума и добродетели, так что своими наперсниками и глашатаями они выбирают уже кого попало, ибо глашатаю полагается только механически выкрикивать вслух то, что ему подсказывается шепотом. Если принять теорию Платона — то задача критики сводится лишь к добросовестному изучению изречений поэта, ибо такое изучение является одним из способов столь манящего всех смертных общения человека с небом. Но, если не принять теорию Платона, которая для современного ума уже не может казаться столь убедительной — то задача критики чрезвычайно усложняется. Нельзя уже допускать, что поэт не понимает того, что говорит. Вместе с тем нельзя и ценить глубокие мысли, если допускаешь, что высказавший их их не понимает. Хуже того, сказать, что поэт не понимает своих мыслей, уже равносильно окончательному и бесповоротному осуждению их. Ибо единственное оправдание мысли это их происхождение. Трус, восхваляющий храбрость — занимается празднословием. Эгоист, восхваляющий самопожертвование, вызывает в нас лишь насмешку, развратник, проповедующий целомудрие — презрение. Мертвые мысли так же ненужны, как и мертвые тела. Мысль должна иметь живую душу — и ее душа, это душа ее творца. Вот почему нам теперь недостаточно бывает одних поэтических произведений, вот почему от стихотворения, поэмы, драмы, романа мы невольно переходим к переживаниям поэта, драматурга, романиста, и если путь для такого перехода для нас оказывается закрытым, мы уже перестаем ценить художественное произведение и интересоваться им. Так что, если бы мы, вслед за Платоном, сказали бы, что поэты не понимают того, что говорят, этим самым бы мы сказали, что поэтические произведения нам не нужны. Да ведь с самим Платоном случилось то же: он не нашел в своем идеальном государстве места для поэта.

III

СТРАХ БОЖИЙ

Прежде всего нужно сказать себе, что Бог не всеведущ. И что предикат "ведение" так же мало может быть отнесен к Богу, как предикат белый или черный. Нельзя сказать белый или черный Бог, нельзя сказать всеведущий Бог. И тогда понятно будет библейское:

страх Божий есть начало премудрости. Т. е. не страх перед опасностями, трудностями или неприятностями, которыми нам грозит эмпирическая, видимая действительность, то что мы называем "опытом", — что нам будет трудно, — и что есть начало всякого знания, всякого ведения — больно, тяжело и т. д. и что придает знанию в глазах людей такую огромную ценность, а страх перед невидимым, т. е. перед тем, что нам кажется несуществующим. И соответственно с тем, что есть предмет нашего страха, меняется и предмет наших стремлений и надежд. Страх перед видимою действительностью дает нам надежды, что "узнав" эту действительность, покорившись ей, приспособившись к ней, мы избегнем дурного (вредного, опасного) и отыщем хорошее (полезное). Страх перед Богом освобождает от нужды в приспособлении. Бог дал, Бог взял: Бог взял, Бог даст. И премудрость не в знании "данного", "существующего", то есть навязанного — а в причастии к тому, от которого все идет, который все создает — и кто властвует над бытием и небытием, от которого и бытие и небытие получают то, что есть в них значительного и существенного. Страх Божий — есть бесстрашие перед всем тем, чего обычно боятся люди. Или даже так: страх Божий есть бесстрашие вообще. Кто испытал страх Божий — тот ничего не боится, тому ничего не страшно. Ибо ведь страх Божий — это совсем не то, что страх пред голодом, (...) насильником и т. п. Страх Божий значит, что все страхи кончились, так окончательно кончились, что можно себе позволить (...) *s'abêtir*, ничего не знать и знать не хотеть или, как Тертулиан, утверждать *certum est quia impossibile*. Страх Божий есть конец ставшего ни для чего не нужным "строгого" знания и начало бесстрашия, начало той свободы (...) от рабства тления, о которой говорит апостол (Рим. 8, 21).

IV

ИСКУШЕНИЕ АВРААМА

Искушение Авраама. Авраам был уверен, что Бог не искушает его, а в самом деле требует, чтоб он заклал своего сына. И тоже был уверен, что он убьет Исаака. И то и другое было правдой, и было неправдой. Бог требовал и Бог не требовал, Авраам убил и не убил Исаака. И только потому, что одно и то же в одно и то же время было и правдой и неправдой, и истиной и ложью, библейское сказание об Аврааме имеет тот глубокий и единственный в 'своем роде смысл, который в нем открывали с древнейших времен те, которые умели читать Свящ. Писание. И я думаю, что не только повествование

об Аврааме находится "по ту сторону" закона противоречия, даже "по ту сторону" истины и лжи — все, даваемое нам откровением, само Откровение находится, как это ни странно, по ту сторону истины и лжи. Если бы Авраам знал истину, т. е. знал, что Бог не хочет, чтоб он убивал Исаака и что он Исаака не убьет, из Св. Писания выпало бы то, что отличает его от других книг. И тоже из жизни Авраама выпало бы то, что делало его жизнь так непохожей на жизнь других людей и что его так близко подводило к Богу. Иначе говоря, по Богу истины не подводить, и чтоб подойти к Богу наши истины нам помочь не могут. Наоборот даже — чем больше мы знаем, тем больше мы от Бога отходим. Недаром сказано, что царство Божие берется силой. Недаром тоже Св. Писание так все написано, что каждый может его по-своему понять. В известном смысле Спиноза был прав: "истины", того, что мы называем истиной, в Св. Писании нет. Все "истины" в распоряжении того, кто решает, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым.

И Авраам через обман приходит к настоящей действительности, к тому, что больше, нужнее, важнее истины.